

— Тутъ... Съ похмелья мается!..

И кивнулъ шершавою головою въ мою сторону.

Я же, хотя и не маялся, вопреки шутливому заявлению сапожника, съ похмелья, но былъ, дѣйствительно, въ горизонтальномъ положеніи—лежалъ на койкѣ, такъ какъ у меня страшно болѣла голова отъ невозможной атмосферы: сырости, угара, запаха сапожной кожи и вара и махорки,—атмосферы, къ которой надо привыкать годами.

И тѣмъ не менѣе я сразу узналъ Льва Николаевича. Онъ былъ такимъ, какимъ обыкновенно рисуютъ его на хорошихъ портретахъ. Прямая, бодрая не по лѣтамъ, осанка, сѣдая, окладистая борода, широкій носъ и густыя, нависшія надъ глазами брови, удивительными по своей живости и пронизательности глазами: точно два раскаленныхъ угля!.. Кто видѣлъ хоть разъ Толстого, тотъ никогда, думается, не забудетъ его пронизывающаго, какъ бы сверлящаго взгляда.

Не скрою: сначала я потерялся и, медленно поднявшись съ койки, нерѣшительно подошелъ къ ожидавшему меня Льву Николаевичу.

— Извините,—говорю,—Левъ Николаевичъ (последній терпѣть не могъ, когда его величали „вашимъ сіятельствомъ“)... Будьте добры пройти въ эту комнату!..

Комната, собственно говоря, была одна, но раздѣлялась дощатою перегородкой на двѣ; вторая, гдѣ работали обыкновенно братья-гравера, имѣла видъ сравнительно поприличнѣй.

И вотъ, стоило мнѣ услышать Толстовскій голосъ—ровный, мягкій, участливый, какъ первоначальная робость незамѣтнымъ образомъ оставила меня.

— Вамъ, прежде всего, надо одѣться!—сказалъ Толстой, которому не могло не броситься въ глаза мое рубище.—А потомъ приходите ко мнѣ,—я вамъ работу дамъ. Только,—и онъ замѣтно подчеркнулъ эти слова,—не надо падать духомъ!

— Да я ужъ упалъ духомъ,—вырвалось у меня невольно.—Вѣдь черезъ этотъ злосчастный алкоголь все, кажется, потеряно!..

И, упомянувъ въ данномъ случаѣ объ алкогольѣ, я долженъ съ чувствомъ благодарности отмѣтить, что самъ